







ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН

КРОШКА ЦАХЕС, ПО ПРОЗВАНИЮ ЦИННОБЕР



ПОВЕЛИТЕЛЬ БЛОХ



ЗОЛОТОЙ ГОРШОК



ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК



ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ



*Издательство АЛЬФА-КНИГА
Москва, 2013*

УДК 830
ББК 84.(Нем.)6-5
Г74

Перевод с немецкого

Гофман Э. Т. А.

Г74 Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер. Повелитель блох. Золотой горшок. Песочный человек. Щелкунчик и мышинный король. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013. — 378 с.: ил. — (Собрание мировой классики).

ISBN 978-5-9922-1411-6

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) — писатель, классик немецкой литературы, непревзойденный мистификатор и сказочник-мистик, мастер захватывающего и непредсказуемого сюжета.

В настоящее издание вошли сказочно-сатирические произведения писателя — «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер», «Повелитель блох», «Золотой горшок», «Песочный человек» и «Щелкунчик и мышинный король».

УДК 830
ББК 84.(Нем.) 6-5

ISBN 978-5-9922-1411-6

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013

КРОШКА ЦАХЕС,
ПО ПРОЗВАНИЮ ЦИННОБЕР



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Маленький оборотень. — Великая опасность, грозившая пасторскому носу. — Как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея Розабельверде попала в приют для благородных девиц

Недалеко от приветливой деревушки, у самой дороги, на раскаленной солнечным зноем земле лежала бедная, оборванная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем изнемогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой доверху хворостом, который она с трудом насобираала в лесу, и так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что пришла смерть и настал конец ее неутешному горю. Все же вскоре она собралась с силами, распустила веревки, которыми была привязана к ее спине корзина, и медленно перетащила на ближайшую лужайку. Тут принялась она громко сетовать.

— Неужто, — жаловалась она, — неужто только я да бедняга муж мой должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтоб утолить голод? Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле золотые монеты, мы и впрямь возомнили, что счастье наконец-то завернуло к нам и пойдут беспечальные дни. А что вышло? Деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеба в поле градом побило, и — дабы мера нашего горя была исполнена — Бог наказал нас этим крохотным оборотнем, что родила я на стыд и посмешище всей деревне. Ко дню святого Лаврентия малому минуло два с половиной года, а он все еще не владеет своими паучьими ножонками и, вместо того чтоб говорить, только мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет, окаянный уродец, словно восьмилетний здоровяк, да только все это ему ничуть впрок нейдет. Боже, смилостивись ты над ним и над нами! Неужто принуждены мы кормить и растить мальчонку себе на муку и нужду еще горшую; день ото дня малыш будет есть и пить все больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в силах ни один человек! Ах, когда б мне только умереть! — И тут несчастная принялась плакать и сте-

нать до тех пор, пока горе не одолело ее совсем, и она, обессиленная, заснула.

Бедная женщина по справедливости могла сетовать на мерзкого уродца, которого родила два с половиной года назад. То, что с первого взгляда можно было вполне принять за диковинный обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый, не выше двух пядей ростом, ребенок, лежавший поперек корзины, — теперь он выполз из нее и с урчанием копошился в траве. Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, взглядевшись попристальнее, можно было заметить нос, длинный и острый, выдававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие черные искрящиеся глазенки, — что вместе с морщинистыми, старческими чертами лица, казалось, обличало маленького альрауна.

И вот, когда, как сказано, измученная горем женщина погрузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случилось, что фройляйн фон Розеншён — канониса близлежащего приюта для благородных девиц — возвращалась той дорогой с прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и сострадательна.

— Праведное Небо, — воскликнула она, — сколько нужды и горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она чуть жива, ибо работает свыше сил; голод и забота подкосили ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие! Ах, когда б могла я помочь так, как хотела! Однако все, что у меня осталось, те немногие дары, которые враждебный рок не смог ни похитить, ни разрушить, все, что еще подвластно мне, я хочу твердо и неложно употребить на то, чтобы отвратить беду. Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а, быть может, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам обоим, богатство не суждено, а кому оно не суждено, у того золото уплывает из кармана, он и сам не знает как. Оно причиняет ему только новые горести, и чем больше перепадет ему, тем беднее он становится. Но я знаю — больше, чем всякая нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твое сердце, что ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое злоеющее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет, но, быть может, ему удастся помочь иным образом.

Тут фройляйн опустилась на траву и взяла малыша на колени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил уку- сить фройляйн за палец, но она сказала:

— Успокойся, успокойся, майский жучок! — и стала тихо и нежно гладить его по голове, проводя ладонью ото лба к затылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгладились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и тыкво- образную спину. Малыш становился все спокойнее и, наконец, крепко уснул. Тогда фройляйн Розеншён осторожно положила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась.

Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудес- ным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина.

— Эге, — воскликнула она, — сколько отрады и бодрости принес мне короткий сон. Однако солнце на закате — пора до- мой! — Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, загля- нув в нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплесну- ла руками от изумления и воскликнула:

— Цахес, крошка Цахес, да кто же это так красиво расчесал тебе волосы? Цахес, крошка Цахес, как пошли бы тебе эти ло- коны, когда бы ты не был таким мерзким уродом. Ну поди сю- да, поди — лезь в корзину. — Она хотела схватить его и поло- жить на хворост, но крошка Цахес стал отбрыкиваться и весьма внятно промяукал:

— Мне неохота!

— Цахес, крошка Цахес! — не помня себя закричала женщи- на. — Да кто же это научил тебя говорить? Ну, коли ты так хоро- шо причесан, так славно говоришь, ты уж, верно, можешь и бе- гать? — Она взвалила на спину корзину, крошка Цахес вцепил- ся в ее передник, и так они пошли в деревню.

Им надо было пройти мимо пасторского дома, и случилось так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, приго- жим, золотокудрым трехлетним мальчуганом. Завидев женщи- ну, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахеса, повис- шего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием:

— Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно тя- желая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните на этой вот скамейке, я скажу служанке, чтобы вам подали напи- ться!

Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться почтенному господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Ца-

хес потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно наклонился, поднял малыша и сказал:

— Ба, фрау Лиза, фрау Лиза, да какой у вас премиленький, пригожий мальчик. Поистине это благословение Божие, кому ниспослан столь дивный, прекрасный ребенок! — И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось вовсе не замечая, что злонравный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится укусить достопочтенного господина за нос. Фрау Лиза, совершенно озадаченная, стояла перед священником, таращила на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и подумать.

— Ах, дорогой господин пастор, — наконец завела она плаксивым голосом, — вам, служителю Бога, грех насмеяться над бедной женщиной, которую неведомо за что покарала Небеса, послав ей этого мерзкого оборотня.

— Что за вздор, — со всею серьезностью возразил священник, — что за вздор несете вы, любезная фрау Лиза! «Насмеяться», «оборотень», «кара Небесная»! Я совсем не понимаю вас и знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от всего сердца любите вашего прелестного сына! Поцелуй меня, послушный мальчик! — Пастор ласкал малыша, но Цахес ворчал: «Мне неохота!» — и опять норовил ухватить его за нос.

— Вот злая тварь! — вскричала с перепугу фрау Лиза.

Но в тот же миг заговорил сын пастора:

— Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми, что, верно, все они тебя сердечно любят!

— Послушайте только, — воскликнул пастор, засверкав глазами от радости, — послушайте только, фрау Лиза, этого прелестного, разумного мальчика, вашего милого Цахеса, что так нелюб вам. Я уже замечаю, что вы никогда не будете им довольны, как бы ни был он умен и красив. Вот что, фрау Лиза, отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение и воспитание. При вашей тяжкой бедности он вам только обуза, а мне будет в радость воспитать его как своего родного сына!

Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все восклицала:

— Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шутите и хотите взять к себе маленького уroda, воспитать его и избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборотень?

Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное безобразие своего альрауна, тем с большей горячностью уверял ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила столь драгоценного дара, благословения Небес, ниспославших ей дивного мальчика, и наконец, распалившись гневом, с

крошкой Цахесом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов.

Словно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пасторского дома и не знала, что обо всем этом и думать. «Что же это, Господи, — рассуждала она сама с собой, — стряслось с нашим почтенным пастором, с чего это ему так сильно полюбился крошка Цахес и он принимает этого глупого карапуза за красивого и разумного мальчика? Ну да поможет Бог доброму господину, он снял бремя с моих плеч и взвалил его на себя, пусть поглядит, каково-то его нести! Эге, как легка стала корзина, с тех пор как не сидит в ней крошка Цахес, а с ним — и тяжкая забота!»

И тут фрау Лиза, взвалив на спину корзину, весело и беспечно пошла своим путем.

Что же касается канонисы фон Розеншён, или, как она еще называла себя, Розенгрюншён, то ты, благосклонный читатель, — когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени о том помолчать, — все ж догадался, что тут было сокрыто какое-то особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел крошку Цахеса красивым и умным и принял как родного сына, объясняется не чем иным, как таинственным воздействием ее рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы. Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую прозорливость, ты все же можешь запутаться в ложных предположениях или, к великому ущербу для нашего повествования, перескочить через множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таинственной канонисе; поэтому уж лучше я сам без промедления расскажу тебе все, что знаю о достойной даме.

Фройляйн фон Розеншён была высокого роста, отличалась благородной, величественной осанкой и несколько горделивой властью. Ее лицо, хотя его и можно было назвать совершенно прекрасным, особенно когда она, по своему обыкновению, устремляла вперед строгий, неподвижный взор, все же производило какое-то странное, почти зловещее впечатление, что следовало прежде всего приписать необычной, странной складке между бровей, относительно чего толком неизвестно, дозволительно ли канонисам носить на челе нечто подобное; но притом часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и благоволение, что каждый чувствовал себя во власти сладостного, непреодолимого очарования. Когда я в первый и последний раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внешности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита, и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье

увидеть ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом утрашиться ее дивной красоты, которая очень скоро могла исчезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уверяли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь. По-видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным. Но тут добавлялись и различные иные обстоятельства, которые всякого, по зрелому размышлению, повергали в такое замешательство, что под конец он совершенно терялся в догадках. Во-первых, весьма явственно обнаруживалось родство фройляйн Розеншён с цветами, имя коих она носила. Ибо не только во всем свете не было человека, который умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какой-нибудь иссохший, колючий прутик, как на нем пышно и в изобилии начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фройляйн громко беседует с какими-то чудесными головами, верно исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьев. И однажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редкостные, невиданные в этой стране птицы с пестрыми, сверкающими перьями и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фройляйн фон Розеншён поступила в приют для благородных девиц. Ее приняли туда по повелению князя; а посему барон Претекстатус фон Мондшейн, владлец поместья, по соседству с коим находился приют и где он был попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на то что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были его усердные поиски фамилии Розенгрюншён в «Книге турниров» Рикснера и в других хрониках. На этом основании он справедливо мог усомниться в правах на поступление в приют девицы, которая не могла представить родословной в тридцать два предка, и наконец, совсем сокрушенный, со слезами на глазах просил ее, заклиная Небом, по крайности называть себя не Розенгрюншён, а Розеншён, ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка. Она согласилась ему в угоду. Быть может, задетый за живое Претекстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше и больше разносились по деревне. К тем волшебным разговорам в лесу, от коих, впрочем, не было осо-

бой беды, прибавились различные подозрительные обстоятельства; молва о них шла из уст в уста и представляла истинное существо фройляйн в свете весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не обвиняясь, уверяла, что всякий раз, когда фройляйн, высунувшись из окошка, крепко чихнет, по всей деревне скисает молоко. Едва это подтвердилось, как стряслось самое ужасное: Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фройляйн, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он принужден был носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фройляйн умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град, насыпать колтун и тому подобное, и никто не сомневался в рассказах пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел, как фройляйн носилась по воздуху на помеле, а впереди нее летел преогромный жук и синее пламя полыхало меж его рогов!

И вот все пришло в волнение, все ополчились на ведьму, а деревенский суд порешил ни много ни мало как выманить фройляйн из приюта и бросить в воду, дабы она прошла положенное для ведьмы испытание. Барон Претекстатус не восставал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: «Так-то вот и бывает с лишенными предков простыми людьми, которые не столь древнего и знатного происхождения, как Мондшейны». Фройляйн, извещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую резиденцию, вскоре после чего барон Претекстатус получил от владетельного князя кабинетский указ, посредством коего до сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелевалось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плавании благородные девицы из дворянского приюта, деревенских судей заточить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам, под страхом чувствительного телесного наказания, объявить, чтобы они не смели думать о фройляйн Розеншён ничего дурного. Они образумились, утрастились грозящего наказания и впредь стали думать о фройляйн только хорошее, что возымело благотворнейшие последствия для обеих сторон — как для деревни, так и для фройляйн Розеншён.

Кабинету князя доподлинно было известно, что девица фон Розеншён не кто иная, как знаменитая, прославленная на весь свет фея Розабельверде. Дело обстояло следующим образом.

Едва ли на всей земле можно сыскать страну прелестнее того маленького княжества, где находилось поместье барона Претекстатуса фон Мондшейна и где обитала фройляйн фон Ро-

женщён, одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный читатель, как раз собираюсь поведать тебе более пространно.

Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее зелеными благоуханными рощами, цветущими лугами, шумливыми потоками и весело журчащими родниками, уподоблялась — а особенно потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки, — дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехы, не ведая о тягостном бремени жизни. Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго нрава, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно приписать, что почти в каждой деревне, а особенно в лесах частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий, плененный восторгом и блаженством, непоколебимо верил во все чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был веселым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане и охотно даровали бы превосходному Деметрию вечную жизнь. Но это не было в их власти. Деметрий умер, и ему наследствовал юный Пафнутий. Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Он решил править и тотчас по вступлении на престол поставил первым министром государства своего камердинера Андреса, который, когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за горами, одолжил ему шесть дукатов и тем выручил из большой беды.

— Я хочу править, любезный! — крикнул ему Пафнутий.

Андрес прочел во взоре своего повелителя, что творилось у него в душе, припал к его стопам и со всей торжественностью произнес:

— Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сиянии утра встает царство из ночного хаоса! Государь, вас молит верный вассал, тысячи голосов бедного, злосчастливого народа заключены в его груди и горле! Государь, введите просвещение!

Пафнутий почувствовал немалое потрясение от возвышенных мыслей своего министра. Он поднял его, стремительно прижал к груди и, рыдая, молвил:

— Министр! Андрес, я обязан тебе шестью дукатами, — более того — моим счастьем — моим государством! — о верный, разумный слуга!

Пафнутий вознамерился тотчас распорядиться отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего числа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться.

— Преславный государь, — воскликнул меж тем Андрес, — преславный государь, так дело не делается!

— А как же оно делается, любезный? — спросил Пафнутий, схватил министра за петлицу и повлек в кабинет, замкнув за собою двери.

— Видите ли, — начал Андрес, усевшись на маленьком табу­рете насупротив своего князя, — видите ли, всемилостивый господин, действие вашего княжеского эдикта о просвещении наисквернейшим образом может расстроиться, когда мы не соединим его с некими мерами, кои хотя и кажутся суровыми, однако ж повелеваются благоразумием. Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу, — прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества. Преславный князь, вы читали «Тысячу и одну ночь», ибо, я знаю, ваш светлейший, блаженной памяти господин папаша — да ниспослет ему небо нерушимый сон в могиле! — любил подобные гибельные книги и давал их вам в руки, когда вы еще скакали верхом на палочке и поедали золоченые пряники. Ну вот, из этой совершенно конфузной книги вы, всемилостивейший господин, должно быть, знаете про так называемых фей, однако вы, верно, и не догадываетесь, что некоторые из числа сих опасных особ поселились в вашей собственной любезной стране, здесь, близехонько от вашего дворца, и творят всяческие бесчинства.

— Как? Что ты сказал, Андрес? Министр! Феи — здесь, в моей стране! — восклицал князь, побледнев и откинувшись на спинку кресла.

— Мы можем быть спокойны, мой милостивый повелитель, — продолжал Андрес, — мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против сих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаша, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной

тьме. Они упражняются в опасном ремесле — чудесах — и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее, у них столь несносные, противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, — всех фей гнать! Их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по «Тысяче и одной ночи».

— А ходит туда почта, Андрес? — справился князь.

— Пока что нет, — отвечал Андрес, — но, может статься, после введения просвещения полезно будет учредить каждодневную почту и в эту страну.

— Однако, Андрес, — продолжал князь, — не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропщет ли исповоренный народ?

— И на сей случай, — сказал Андрес, — и на сей случай располагаю я средством. Мы, милостивейший повелитель, не всех фей спровадим в Джиннистан, некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и употребим все нужные для того средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства. Не пожелают они вступить в благонадежный брак — пусть под строгим присмотром упражняются в каком-нибудь полезном ремесле, вяжут чулки для армии, если случится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить, а это ведь лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на княжескую кухню; крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая им корма в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением.

ПОВЕЛИТЕЛЬ БЛОХ



ПЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Введение, из которого благосклонный читатель узнает из жизни Перегринуса Тиса столько, сколько ему нужно. — Елка у переплетчика Леммергирта на Кальбахской улице и начало первого приключения. — Две Алины.

Однажды... но какой писатель осмелится в наше время начать свой рассказ таким образом? — Как это старо! Как скучно! — восклицает при этом благосклонный или, вернее сказать, неблагосклонный читатель, который, придерживаясь мудрого совета одного древнего римского писателя, желает быть тотчас посвящен в *medias in res*¹. Он при этом испытывает то же неудовольствие, как если бы к нему только что вошел гость, который, как ему известно, прежде чем начать разговор, делает длиннейшие приготовления: усаживается без конца, занимая как можно больше места, кашляет, вздыхает и после долгих размышлений, наконец, решается начать свою пространную речь. Читатель в таком случае с досадой захлопывает книгу, которую он только что открыл. Хотя нынешний издатель этой удивительной сказки о повелителе блох и полагает, что начинать таким образом рассказ очень хорошо и даже что это самое лучшее начало всякого рассказа (это видно из того, что самые искусные рассказчицы сказок, как-то мамки, старые бабы и проч., искони веков употребляли слово «однажды» для начала своего повествования), — тем не менее вышеупомянутый издатель постарается обойтись без него: он не желает произвести неблагоприятного впечатления на благосклонного читателя, ввиду того, что он, как всякий автор, хочет, чтобы его произведение заинтересовало читателя. Поэтому автор прямо, без всяких дальних рассуждений, объявляет читателю, что у Перегринуса Тиса, о странной судьбе которого он и поведет речь, никогда еще сердце не билось так сильно от тревожного радостного ожидания, как в этот Рождественский сочельник, которым начинается рассказ о его приключениях. Перегринус находился в темной комнате, прилегавшей к парадной зале, в которой для него обыкновенно устраивалась елка. Он от времени до времени прохаживался взад и вперед, прислушивался у дверей, что дела-

¹ Суть дела (*лат.*).

лось рядом, а затем садился куда-нибудь в угол и, закрыв глаза, вдыхал в себя таинственный аромат марципана и пряников, проникающий в комнату. Но, когда он снова быстро открывал глаза и его ослеплял свет зажженных рядом в комнате свечей, падающий через щель двери и прыгающий взад и вперед по стене, он чувствовал приятный, сладостный трепет.

Наконец, серебряный колокольчик зазвенел, дверь соседней комнаты отворилась и Перегринус, бросившись в залу, очутился положительно в море света, падающего от многочисленных пестрых свечей, которыми была украшена елка. Перегринус, совершенно остолбенев от радости, остановился перед столом, на котором в величайшем порядке были уставлены чудные подарки, предназначенные ему, и только громкое «ах!», вырвалось из его груди. Никогда еще елка не была увешана такими чудными гостинцами, как в этот раз, и никогда еще их не было так много: тут были всякого рода конфеты, между ними висел то здесь, то там золотой орех, или же красовалось золотое яблоко из садов Гесперид и ветви так и склонялись под сладкой тяжестью плодов. А что касается до большого количества чудеснейших игрушек: прелестных оловянных солдатиков, таких же охотников и целого охотничьего двора, раскрытых книжек с картинками и проч., то всего этого и описать невозможно. Он все еще не осмеливался дотронуться до своего великого богатства, он старался овладеть собой и привыкнуть к мысли, что все, что он видит пред собой, действительно принадлежит ему.

— О, мои милые родители, о, моя добрая Алина! — воскликнул Перегринус, с чувством величайшего восторга.

— Ну, что, Перегринхен, — ответила Алина, — угодила я тебе? Радуюшься ли ты от всей души, дитя мое? Что же ты не подойдешь поближе и не рассмотришь все свои игрушки? Не желаешь ли ты сесть на своего нового, рыжего конька и покататься верхом?

— Чудный конь, — сказал Перегринус, рассматривая с радостными слезами на глазах взнузданного конька, — прелестный конь, чистокровной, аравийской породы, — он, действительно, тотчас сел на своего благородного, гордого коня.

Быть может, Перегринус и был хорошим ездоком, но в этот раз он, вероятно, сделал какую-нибудь ошибку, потому что горячий Понтифер (так звали коня) вдруг стал на дыбы и сбросил наездника, который упал на пол вверх ногами и очутился в весьма жалком положении. Но раньше, чем испуганная Алина успела прийти к нему на помощь, Перегринус уже вскочил на ноги и схватил узду лошади, которая, лягая задними ногами, только что собиралась убежать. Перегринус снова вскочил в седло и, упо-

требив все свое искусство верховой езды и вооружившись силой и ловкостью, довел горячего коня до того, что тот, дрожа всем телом и задыхаясь, наконец, сдался, увидев, что с этим прекрасным ездоком ему несдобровать. Тогда Перегринус слез с коня, и Алина увела укрощенное животное в конюшню.

Эта дикая езда, произведшая не только в комнате, но во всем доме ужасный шум, теперь кончилась, и Перегринус сел спокойно за стол, чтобы рассмотреть получше все остальные, удивительные подарки. Он принялся с удовольствием уплетать миндальные конфеты, занимаясь при этом своими игрушками: он заставлял ту или другую марионетку показывать свои фокусы, брал в руки то одну, то другую книжку с картинками, затем сделал смотр войскам, причем остался крайне доволен их обмундировкой и удостоверился в том, что ни одному враждебному войску не удастся победить его солдат, так как они пользовались тем преимуществом, что у них не было желудка. В конце концов он перешел к охотничьему делу, но, к своей величайшей досаде, заметил, что у него есть только охота на зайцев и на лисиц, а охоты на оленей и на диких свиней — нет. А между тем эта охота должна была быть здесь, Перегринус знал это лучше, чем кто бы то ни было, так как он сам с величайшей заботливостью и тщательностью выбирал все эти игрушки.

Однако, как мне кажется, необходимо разъяснить недоумение, в котором может очутиться благосклонный читатель, если автор станет рассказывать все дальше, не думая о том, что читателю вовсе неизвестны все обстоятельства, предшествовавшие описанным в Рождественский сочельник событиям, тогда как автор со всем этим уже знаком. А между тем читателю крайне интересно узнать о том, чего он еще не знает.

Каждый, кто вообразит, что Перегринус Тис маленький ребенок, которому добрая его мать или какое-нибудь другое расположенное к нему женское существо, названное для большого романтизма Алиной, устроило елку, тот глубоко ошибется. Здесь нет ничего подобного!

Г-ну Перегринусу Тису минуло уже тридцать шесть лет, стало быть, он достиг почти самого лучшего возраста своей жизни. Шесть лет тому назад о нем говорили как об очень красивом молодом человеке; теперь о нем говорили, как о весьма элегантном, но уже довольно положительном человеке; но тогда, равно и теперь, все осуждали его за то, что он дичится людей и, следовательно, не встречаясь с ними, не имеет никакого понятия о них и вообще совершенно не знает жизни. Многие приписывали угнетенное состояние, в котором он постоянно находился, какому-то болезненному явлению, а отцы, имевшие взрослых дочерей, полагали, что для того, чтобы Тису излечиться от его

болезни, следует только жениться. А что касается до невест, то ему нечего бояться: ему не откажут — стоит только посвататься за любую из них. Мнение отцов было вполне справедливо, так как Перегринус Тис был не только очень красив собой, но имел к тому же и прекрасное состояние, унаследованное от своего отца Валтассария Тиса, очень богатого купца, пользовавшегося прекрасной репутацией. Когда такие высоко даровитые люди, как Перегринус Тис, делают предложение девице, вышедшей уже из того возраста, когда мечтают только о любви, а именно, девице лет двадцати трех или четырех, то таковая на вопрос: «Смею ли я надеяться, моя дорогая, что вы осчастливите меня и отдадите мне вашу руку?» потупив взор и покраснев ответит: «Переговорите с моими дорогими родителями по этому поводу, у меня собственной воли нет и я беспрекословно подчиняюсь лишь их приказаниям». Тогда родители, сложив руки, отвечают: «Если это воля Божия, то мы не имеем права этому противиться, пусть будет, как вы этого желаете, наш будущий сын!»

Но Перегринус Тис не имел решительно никакого желания жениться: не говоря уже о том, что он вообще страшно дичился людей, он питал особенное отвращение ко всему женскому полу. Как только ему приходилось находиться в обществе женщин, у него от страха пот выступал на лбу, а если какая-нибудь хорошенькая молоденькая девушка обращалась к нему с вопросом, на него нападал такой ужас, что язык прилипал к гортани и он принимался дрожать, как лист. По всей вероятности, в этом страхе к хорошеньким женщинам и заключалась причина, почему Перегринус Тис избрал для себя служанку, которая была до такой степени некрасива, что во всей округе, где он жил, всякий, кто только ее видел, смотрел на нее, как на единственный экземпляр во всем свете. Ее жесткие, как щетина, черные с проседью волосы замечательно подходили к ее толстому, медного цвета носу и к бледно-синим губам, прекрасно дополняя тип будущей жительницы Блоксберга; несколько столетий раньше ей едва ли удалось бы избегнуть костра, тогда как теперь не только Перегринус Тис, но очень многие другие лица считали ее за очень добродушную особу. Она и на самом деле была очень добрая и поэтому к ней нельзя было относиться строго за то, что она иногда с целью подкрепления своего тела и удовлетворения своих жизненных потребностей, вставляла в программу своих ежедневных занятий питье водки, хотя и в весьма ограниченном количестве, и, кроме того, порою слишком часто вытаскивала из под платка, носимого на груди, громадную, покрытую черным лаком, табакерку, в которую углубляла свой почтенных размеров нос, чтобы накормить его настоящим оффенбахеровским табаком. Благосклонный читатель, вероятно,

сообразил, что странная особа, о которой я говорю, и есть та самая Алина, что устроила Перегринусу Тису елку. Бог знает, каким образом она получила то же имя, что носила и знаменитая королева Голконды.

Но, если с одной стороны отцы, имеющие взрослых дочерей, настаивали на том, чтобы симпатичный Перегринус Тис женился, старые холостяки отнюдь не соглашались с их мнением и находили, что Тис отлично делает, что не женится, так как человеку с такими «странностями» не следует вступать в брак.

Но что было крайне неприятно, это то, что некоторые при слове «странности» делали какую-то особенную физиономию и при дальнейшем допросе давали довольно ясно понять, что, к сожалению, у господина Тиса умственные способности не совсем в порядке и что он страдает этим уже с самой ранней молодости. Все эти люди, воображавшие, что Перегринус несколько тронут, принадлежали по большей части к числу таких, которые убеждены, что для того, чтобы проложить себе верный жизненный путь, по которому человека заставляют следовать его ум и благоразумие, самым лучшим руководителем ему служит нос, и поэтому они надевают себе наглазники для того, чтобы их не соблазняли ни благоухающие кустарники, ни цветущие луга, окружающие их по сторонам.

Что у Перегринуса были кое-какие странности, с которыми люди не могли примириться, — это правда.

Мы уже говорили, что отец Перегринуса Тиса был очень богатый и знатный купец, и если мы к этому прибавим еще, что у него был прекрасный дом, находившийся на веселом месте, на Конской площади, и что в этом доме и даже в той же самой комнате, где маленькому Перегринусу в детстве устраивали елку, в вышеописанный вечер и взрослый Перегринус получал свои подарки, то нечего и сомневаться, что город, где произошли необыкновенные события, о которых будет повествовать эта книга, был именно Франкфурт-на-Майне.

О родителях Перегринуса можно сказать только то, что это были честные тихие люди, о которых всякий, кто их знал, мог отзываться с похвалой. Отец Перегринуса пользовался на бирже безграничным доверием, вследствие того, что он замечательно ловко и верно спекулировал, что он выигрывал одну большую сумму за другой, но между тем никогда не совался в чужие дела, а всегда оставался скромным, каким он был с самого начала. Он отнюдь не хвастался своим богатством, а выказывал, что имеет средства только на деле тем, что не жадничал и не скаредничал ни в крупных вещах, ни в мелочах и относился с величайшим снисхождением к несостоятельным должникам,

все равно, очутились ли они в несчастном положении по своей вине или помимо их воли.

У отца и матери Перегринуса очень много лет не было детей, пока, наконец, на двадцатом году их супружеской жизни, г-жа Тис не обрадовала своего мужа, подарив ему здорового, хорошенного сына, который и был никто иной, как наш Перегринус.

Можно себе представить безграничную радость родителей при рождении этого ребенка; и еще донныне все люди, живущие в Франкфурте, рассказывают о парадных крестинах, которые устроил отец Перегринуса, и о том, какой чудный, старый рейнвейн подавался гостям в этот день. Такой пир мог устроить только король в день своей коронации. Но вот что еще более достойно похвалы, это то обстоятельство, что старик Тис пригласил в этот торжественный день и тех, которые относились к нему враждебно и не раз причиняли ему массу неприятностей, и тех, которых он, как ему казалось, сам обидел, так что этот пир сделался настоящим праздником примирения и торжества мира.

Ах, добрый Тис никак не думал, что мальчик, который своим появлением на свет доставил ему такую великую радость, в скором времени причинит ему столько горя и страданий!

Уже с самого раннего возраста ребенок отличался совершенно своеобразным нравом. После того, как он кричал в продолжение нескольких недель, не переставая ни на одну секунду, день и ночь, несмотря на то, что он не испытывал никаких физических болей, он внезапно замолк и превратился в бесчувственного истукана. Казалось, ничто не производило на него ни малейшего впечатления — на маленьком личике его, принадлежавшем скорее безжизненной кукле, чем ребенку, никогда не было заметно ни улыбки, ни желания плакать. Мать его пришла к тому убеждению, что она, будучи в известном положении, засмотрелась на старого бухгалтера, сидевшего уже в продолжение двадцати лет в конторе над гроссбухом, постоянно с одинаково бесчувственным и холодным выражением на лице и, упрекая себя в этом, проливая горькие слезы над своим маленьким истуканом.

Наконец, одной из крестных матерей Перегринуса пришла в голову счастливая мысль подарить ему чрезвычайно уродливого арлекина, одетого в пестрый костюм. При виде арлекина глаза ребенка замечательно оживились, на губках его появилась приветливая улыбка и он потянулся за куклой, которую он, как только что ее ему дали, прижал к груди. Затем он посмотрел на своего пестрого человечка таким умным, многозначущим взглядом, что, глядя на него, можно было предположить, будто в нем внезапно проснулось и чувство, и ясное понимание всего того,

что его окружало и что умственные его способности несравненно более развиты, чем у других детей его возраста.

— Нет, он слишком умен, — сказала крестная мать, — вам его не вырастить. Взгляните только, какие у него глаза: он мыслит уже гораздо больше, чем ему следует думать в его возрасте.

Это изречение в высшей степени утешило старика Тиса, который уже начинал привыкать к мысли, что после долгих лет тщетного ожидания у него, наконец, родился сын-дурак. Но вскоре у него появилась новая забота.

Время, когда маленькие дети обыкновенно начинают говорить, уже давно прошло, но между тем Перегринус не вымолвил до сих пор еще ни одного слова. Можно было бы предположить, что он глухонемой, если бы он не смотрел на того, кто с ним разговаривал, так внимательно, в то время как на лице его выражались и радость и грусть, смотря по тому, что ему рассказывали. Нет, не было никакого сомнения в том, что он и слышал все, что с ним говорили, и все решительно понимал. Но каково было удивление матери Перегринуса, когда она убедилась в истине слов его нянюшки, уверявшей, что ребенок разговаривает по ночам в постели, когда он думает, что никто его не слышит. При этом он произносит не только отдельные слова, а целые фразы и говорит совершенно правильным языком, судя по чему следовало предполагать, что он уже давно упражняется в разговоре. Небо одарило женщин особенно верным тактом, поэтому они всегда умеют легче применяться к свойствам той или другой человеческой натуры. Маленьких детей, находящихся в первом периоде их умственного развития, следовательно, непременно надо поручать воспитывать женщинам. Вот этот такт и подсказал г-же Тис совершенно справедливо, что она не должна показывать сыну, что заметила, как он говорит. Она вовсе не старалась заставить его болтать, а сумела так искусно действовать, что ребенок не был в состоянии долгие скрывать своих способностей к красноречию, а, напротив, возымел желание, к общему удивлению всех, блеснуть своим талантом хорошо и хотя и не быстро, но ясно и правильно выражаться. Особенно много говорить он не любил и был более доволен, когда ему можно было молчать.

Опасность, что Перегринус останется немым, миновала, и отец его снова успокоился, но только на время, так как ему предстояла опять новая забота.

Когда Перегринус достиг того возраста, в который ему надо было начать серьезно учиться, оказалось, что ему только с величайшим трудом можно было кое-что вдолбить. Но странно, что с чтением и писанием повторилось то же, что и с разговором: сначала он никак не мог научиться грамоте, а затем совершенно

внезапно начал и читать, и писать без ошибок. Когда он подросток, то ни один воспитатель не соглашался жить подолгу в доме, но не потому, чтобы мальчик этот им не нравился, а они просто не могли понять его натуры. Перегринус был очень тихий, кроткий и прилежный мальчик, но между тем учить его по известной системе, которой обыкновенно руководствуются учителя, не было никакой возможности, так как он заучивал только то, к чему, как говорится, у него лежала душа, и всецело предавался этому; на все же остальное он не обращал решительно никакого внимания. Но интересовало его только все чудесное, все, что действовало на его фантазию, и вот в этот фантастический мир он погружался всем своим существом. Вот, например, раз как-то он получил в подарок громадную картину, которая заняла всю стену его комнаты. На этой картине был нарисован весь город Пекин, со всеми его улицами, домами и прочим. При виде этого сказочного города, странного народа, толпившегося на улицах Пекина, Перегринус, как бы по мановению жезла, перенесся совсем в другую страну, и ему казалось, будто в ней он чувствует себя совершенно как дома. Он с жаром накинулся на все, что касалось Китая и его жителей. Принялся читать всевозможные книги, относившиеся к Китаю, и старался своим тоненьким, певучим голоском изобразить те звуки и слова китайцев, которые он видел где-то начерченными и при которых было приложено описание, как их произносить. Затем, он взял большие ножницы, которыми режут бумагу, и вздумал придать своему хорошенькому халатику из чудной материи китайский покррой с тем, чтобы, к величайшей своей радости, гулять у себя по комнате по воображаемому им улицам Пекина. Ничто другое не имело для него решительно никакого интереса, к величайшей досаде его воспитателя, который, согласно ясно высказанному желанию старика Тиса, старался вдолбить ему все события, имеющие отношение к Ганзейскому союзу. К глубочайшему сожалению, отцу Перегринуса пришлось убедиться, что сына его нет никакой возможности вывезти из Пекина, вследствие чего он и решил вынести лучше Пекин из комнаты сына.

Старик Тис считал также за очень дурное предзнаменование, что сын его, уже будучи совсем малым ребенком, больше любил играть пфенигами, чем червонцами, а к большим мешкам с золотом, к черновым книгам и к бухгалтерским книгам питал положительно отвращение. Но что казалось удивительнее всего, это то обстоятельство, что он не мог слышать слова «вексель» без того, чтобы не содрогнуться, причем он объяснял, что, когда при нем произносили это слово, он испытывал такое чувство, будто острым концом ножа проводили по стеклу взад и вперед. Тис по всему этому убеждался, что сын его по

природе не годится в купцы и, несмотря на то, что он был бы в высшей степени счастлив, если бы Перегринус пошел по его стопам, он, оставив эту мечту, утешался, по крайней мере, тем, что наследник его изберет себе какое-нибудь другое дело. Старик Тис придерживался того правила, что каждый человек, насколько бы он ни был богат, должен избрать какое-нибудь специальное дело для того, чтобы занять известное положение в свете. Он ненавидел праздных людей, а между тем Перегринус, вследствие того, что у него не было никаких серьезных знаний, блуждал в каком-то хаосе приобретенных им по своему собственному усмотрению понятий. У него поэтому появилась сильная склонность к тунеядству. В этом-то и заключалась самая серьезная и тяжелая забота старика Тиса. Перегринус не желал знать, что происходит в настоящем мире, он витал постоянно в области фантазии, тогда как отец его признавал лишь одну действительность. Поэтому, чем Перегринус делался старше, тем между ним и его отцом отношения делались холоднее. Матери это было крайне неприятно и она не понимала, почему отец желал во что бы то ни стало навязать Перегринусу какое-нибудь определенное дело, тогда как тот, будучи прекрасным, добрым и покорным сыном, никому не мешал тем, что витал в области грез и фантазий. Единственно было неприятно то, что никто его не понимал.

По совету опытных друзей, старик Тис послал своего сына в Вену, в университет, но когда последний, чрез три года возвратился, отец воскликнул с злостью и досадой: «Как я думал, так и случилось. Ганс мечтатель уехал, Ганс мечтатель возвратился!» Тис был совершенно прав: Перегринус решительно ни в чем не переменился, остался совершенно таким, каким уехал. Но старик все еще не терял надежды, что сын его, наконец, образумится, и думал, что, если он заставит его насильно заниматься коммерческим делом, то сын, так сказать, втянется в него и в конце концов им заинтересуется. Он послал его к своему приятелю в Гамбург и дал ему поручения, не требовавшие особенных коммерческих знаний. Этому другу он поручил позаботиться о дальнейшем коммерческом образовании Перегринуса, так как знал, что на него он мог положиться и что тот окажет ему свое полное содействие.

Перегринус отправился в Гамбург и, передав приятелю своего отца рекомендательное письмо и все бумаги, касавшиеся до возложенного на него поручения, исчез неизвестно куда.

Товарищ по торговле Тиса послал ему письмо следующего содержания:

«Я получил письма и бумаги, которыми вы изволили почтить меня через посредство вашего сына, но последний, пере-

дав их в мои руки, тотчас уехал из Гамбурга, не переговорив со мной ровно ни о чем.

На перец здесь спрос очень небольшой, хлопчатая бумага также очень плохо раскупается, что касается до кофе, то берут только средний сорт, но зато полу-рафинад и кубовая краска быстро сходят с рук.

С совершенным почтением и прочее»...

Письмо это страшно испугало бы Тиса и его супругу, если бы они с той же самой почтой не получили письма от их пропавшего без вести сына, в котором последний, в самых трогательных выражениях, извиняется пред родителями за то, что не в силах был исполнить поручение отца именно таким образом, каким желал этого Тис, так как его неудержимо тянет в далекие края, откуда он надеется возвратиться на родину через год, но в более радостном и счастливым расположении духа.

— Ничего, пусть едет, — сказал старик отец, — быть может, путешествие принесет ему пользу, так как заставит его очнуться и бросить свою мечтательность. На замечание матери, что ее крайне беспокоит легкомыслие сына, не запасшегося для такого великого путешествия надлежащим запасом денег, и не написавшего даже, куда ему их можно выслать, отец ответил, смеясь: — Если у нашего мальчугана не хватит денег, то тем лучше для него, он скорее познакомится с действительной жизнью, а если он нам не написал, где он находится, то из этого не следует, что он не знает, куда нам писать.

Осталось неизвестным, куда Перегринус направил в то время свои стопы и где он находится. Некоторые уверяют, что он ездил в Индию, другие говорят, что он только воображал, что он там был, во всяком случае нет сомнения, что он был где-то очень далеко, так как он вернулся во Франкфурт не через год, как он обещал родителям, а через целых три года и пришел домой пешком, в очень жалком состоянии.

Родительский дом его был наглухо заперт, и никто не отпирал ему дверей, несмотря на то, что он и звонил, и стучал без конца.

Но в это время мимо дома прошел сосед Тиса по бирже и Перегринус тотчас обратился к нему с вопросом, не уехал ли, быть может, Тис куда-нибудь.

Но сосед отскочил в испуге и воскликнул: «Господин Перегринус Тис? Вы ли это? Наконец-то вы явились. Неужели вы ничего не знаете?»

Одним словом, Перегринус узнал, что в его отсутствие отец и мать его умерли вскоре один после другого, что наследство его опечатано и что, так как неизвестно, где он находился, вышла публикация, в которой его, Перегринуса, вызывают в

Франкфурт для того, чтобы утвердиться в правах наследства и принять его.

Перегринус не был в состоянии вымолвить ни слова. В первый раз в его жизни сильное сердечное горе его потрясло и разрушило все его блестящие, веселые фантазии, которым он так охотно предавался.

Сосед, видя, что Перегринус, находясь в таком удрученном и беспомощном состоянии, не способен сделать какие бы то ни было, хотя бы и незначительные распоряжения, решил позаботиться о нем и первым делом взял его к себе в дом, а затем как можно скорее устроил все, что можно и нужно было, так что еще в тот же вечер Перегринус находился у себя, в родительской доме.

Совершенно утомленный и погруженный в такое глубокое отчаяние, какого он никогда еще не испытывал, он бросился в большое кресло отца, которое стояло все на том же месте, как и при его жизни. В это время около него чей-то голос произнес следующие слова: «Хорошо, что вы опять приехали, милый господин Перегринус. Ах, если бы вы приехали раньше!» Перегринус поднял глаза и увидел перед собой старуху, которую отец его, именно по той причине, что она не могла получить места, вследствие того, что она была так уродлива, взял к себе в качестве нянюшки для своего маленького сына Перегринуса и которая с тех пор не покидала дома.

Долго Перегринус смотрел на старуху, но, наконец, как-то странно улыбаясь, проговорил:

— Ах, это ты, Алина? Неправда ли, ведь родители еще живы? — сказав это, он встал, прошел чрез все комнаты, осмотрел каждый стул, каждый стол, каждую картину и прочее и затем вымолвил спокойным голосом следующие слова: — Да, все осталось в том виде, в каком я все это покинул, и так оно должно остаться.

С этого дня Перегринус начал жить той странной жизнью, о которой мы говорили выше. Он сторонился всякого общества и жил в громадном, просторном доме со своей служанкой, предаваясь полному одиночеству. Только долгое время спустя, после того как он вернулся, он отдал в наем несколько комнат одному старику, другу его покойного отца. Человек этот производил впечатление такого же дикаря, как и Перегринус. Он и Перегринус жили вместе очень дружно, единственно по той простой причине, что они друг с другом совершенно не встречались.

Но четыре раза в год Перегринус устраивал у себя парадный обед, а именно: в день рождения отца, в день рождения матери, в первый день Пасхи и в день своих крестин. В эти дни Алина должна была накрыть стол на столько человек, сколько обык-

новенно приглашал отец и приготовить все те кушанья, которые подавались при жизни отца, а также поставить на стол такое же дорогое вино, каким угощал гостей отец. Разумеется, и сервировка должна была быть та же самая, как и в былое время: то же серебро, те же самые тарелки и стаканы, все должно было быть в ходу, как и прежде. Все это перешло в руки Перегринуса и употреблялось только четыре раза в год и, стало быть, находилось постоянно в хорошем состоянии: нисколько не портилось и не разбивалось. Сам Перегринус строго следил за этим. Когда стол был накрыт, то Перегринус садился и обедал совершенно один. Он ел и пил очень мало, прислушивался к тому, что, по его мнению, говорили его родители и воображаемые им гости и очень вежливо отвечал на один или другой вопрос, с которым к нему обращались. По окончании обеда ему казалось, что мать его отодвигала стул и вставала, тогда и он вставал также и очень любезно прощался с гостями. После этого он уходил в какую-нибудь отдаленную комнату своего дома, поручив Алине раздать все кушанья, которые остались, а также и все вино бедным людям. Это приказание своего господина добрая Алина исполняла с величайшей добросовестностью. В день рождения отца или матери, Перегринус, как и в детстве, уже с самого раннего утра входил в комнату, где они обыкновенно завтракали, и приносил им прекрасный венок из цветов, а затем декламировал им стихи, которые он выучил наизусть. В день своих крестин он не садился за стол, так как, по его мнению, он недавно только родился, но зато Алина должна была приготовить все, что требовалось к этому торжественному дню, должна была принимать гостей, угощать их и вообще играть роль хозяйки. Обед кончался, как и в другие торжественные дни, и гости расходились, а угощение раздавалось бедным.

Кроме вышепоименованных праздников, Перегринус устраивал себе еще один праздничный день или, вернее сказать, вечер. Это был канун Рождества, когда он велел делать себе елку для того, чтобы вспомнить те счастливые сочельники, которые он проводил с родителями. Ни одно торжество в счастливые дни его детства не волновало и не приводило в такой восторг его невинную душу, как именно тот чудесный вечер, когда для него зажигалась елка.

Он сам закупал для себя такие же разноцветные свечи, игрушки и лакомства, какие когда-то покупали для него родители, а затем елка устраивалась и зажигалась, и он сам, приняв подарки, проводил этот вечер именно таким образом, как нами сказано выше.

— Мне крайне неприятно, — сказал Перегринус, после того, как он поиграл некоторое время игрушками, — мне крайне

неприятно, что охота на оленей и на диких свиней куда-то исчезла. Куда она только девалась? Ах, вот, вероятно, где она! Он в эту минуту увидел коробку, которую он еще не открывал и, в надежде, что в ней именно заключается охота, которую он тщетно старался найти, быстро схватил ее, но, когда он ее открыл, убедился, что она пустая и в ужасе отскочил от нее, как ужаленный. — Странно, — проговорил он потихоньку, про себя, — странно, что эта пустая коробка здесь? Мне показалось, как будто из нее выскочило на меня что-то страшное, но мне не удалось разглядеть, что это такое было, так как у меня недостаточно острое зрение.

Когда Перегринус спросил Алину, откуда взялась эта коробка, она ответила, что нашла ее между другими игрушками, но напрасно употребляла все усилия, чтобы ее открыть, поэтому она подумала, что в ней находится что-нибудь особенное и что ее сумеет открыть только искусная рука ее господина.

— Странно, — повторил Перегринус, — очень странно! А между тем эта охота мне больше всего нравилась. Я боюсь, нет ли тут какого-нибудь худого предзнаменования. Но в такой великий праздник нечего предаваться таким неприятным предположениям, которые, в сущности, не имеют никакого основания. Алина, принеси мне корзинку!

Алина тотчас принесла ему большую, белую корзинку с ручкой, в которую Перегринус тщательно уложил все игрушки, лакомства, и свечи, а затем, надев ее на руку и положив громадную елку на плечо, отправился в путь.

У Перегринуса Тиса была прекрасная, похвальная привычка. Для того, чтобы хотя на мгновение пережить те счастливые минуты, которые он проводил в своем детстве в Рождественский сочельник, он внезапно появлялся со своими богатыми подарками в какой-нибудь бедной семье, в которой, как ему было известно, находились веселые детки. Он желал, так сказать, изобразить из себя посланного Христом доброго ангела. Когда дети принимались громко изъявлять радость и восторг, он потихоньку уходил и порою до глубокой ночи бегал бесцельно по улицам, вследствие того, что внутреннее, испытываемое им волнение теснило его грудь и он не в состоянии был возвратиться к себе в дом, который казался ему в это время мрачной могилой, в которой он и все радости его жизни похоронены. В этот раз он задумал одарить детей бедного переплетчика Леммергирта, очень ловкого и деятельного человека, работавшего на Перегринуса. У Леммергирта было три сына, в возрасте между пятью и девятью годами, и Перегринус знал всех троих.

Переплетчик Леммергирт жил в верхнем этаже очень высокого дома на Кальбахской улице. Дул сильный ветер и снег, вмес-

те с дождем залеплял Перегринусу глаза, поэтому читатель поймет, что молодому человеку было очень не легко достигнуть со своей ношей желанной цели. В окнах квартиры Леммергирта был виден свет от тускло горевших свечей. Перегринус с трудом поднялся по крутой лестнице.

— Отоприте, — воскликнул он, постучав в дверь комнаты, — отоприте, отоприте. Христос посылает добрым благочестивым деткам подарки!

Переплетчик испуганно отворил дверь и не тотчас узнал Перегринуса: тот был весь в снегу.

— Многоуважаемый господин Тис, — воскликнул удивленный Леммергирт, — многоуважаемый господин Тис, скажите мне ради бога, каким образом я в Рождественский сочельник имею великую честь...

Но Перегринус не дал ему договорить; схватив большой, складной стол, стоявший посреди комнаты и громко крикнув:

— Дети, дети, смотрите, что вам посылает Младенец Спаситель! — он принялся вынимать рождественские подарки из тщательно прикрытой корзинки. Но елку, с которой так и текло, ему пришлось оставить у дверей комнаты. Переплетчик все еще не понимал, что все это значило, но жена его быстрее сообразила, в чем дело, и, глядя на Перегринуса, улыбалась со слезами на глазах, а мальчики стояли молча поодаль и положительно пожирали глазами каждый подарок, который Перегринус вынимал из коробки, по временам выражая свой восторг громкими возгласами удивления. Сообразуясь с возрастом каждого из детей, Перегринус распределил между ними все подарки, отложив каждому отдельно то, что ему предназначалось, а затем зажег свечи и воскликнул:

— Сюда, сюда, дети! Вот подарки, которые прислал вам Младенец Спаситель!

Дети, которые до сих пор еще не могли себе представить, что все это принесено им, пришли в невероятный восторг и принялись выражать свое удовольствие сначала радостными криками, а затем скаканием по комнате, в то время как родители бросились благодарить их благодетеля.

Вот именно благодарности родителей и детей и старался обыкновенно избегать Перегринус; он и в этот вечер, как всегда, хотел потихоньку исчезнуть из комнаты, и был уже у самых дверей, как вдруг последняя отворилась и при ярком свете свечей, горевших на елке, он увидел молодую, богато одетую женщину.

Автор по большей части впадает в ошибку, когда берет на себя смелость описывать во всех подробностях наружность той или другой выдающейся своею красотой особы, играющей роль в его

рассказе. По моему мнению, совершенно лишний труд заниматься разбором всех ее наружных качеств в отдельности, а именно: ее роста, красивого стана, цвета глаз, волос и прочего, а следует просто, в кратких словах дать понятие о том впечатлении, которое производит вся женщина. Поэтому с нашей стороны совершенно достаточно было бы заметить что особа, почти до смерти испугавшая Перегринуса своим появлением, была в высшей степени красива и привлекательна, если бы не было необходимости упомянуть о некоторых особенных свойствах, которыми отличалась наружность этой маленькой женской фигурки.

Женщина эта была очень маленького роста, даже меньшего чем следовало, но была очень грациозна и очень красиво сложена. Овал лица был очень хорош, но выражение ее глаз было какое-то странное, вследствие того, что они выходили слишком сильно из орбит, а чрезвычайно тонко очерченные брови находились от глаз в гораздо большем расстоянии, чем у других людей. Дамочка эта была одета или, вернее, наряжена как будто она только что приехала с бала. В черных волосах ее блестела чудная диадема, богатая отделка на лифе прикрывала только наполовину ее полную грудь, а лиловое с желтым, в клеточку, платье, охватывая ее гибкий стан, падало в складках, но все-таки давало возможность разглядеть ее маленькие, прелестные ножки, обутые в белые башмачки; кружевные рукава платья были настолько коротки, что давали возможность видеть самую красивую часть ее белоснежной руки, так как белые, лайковые перчатки были не очень длинны. Дорогое колье и бриллиантовые серьги дополняли богатый костюм!

Вполне естественно, что переплетчик был настолько же удивлен, как и Перегринус, и что дети его, оставив игрушки и разинув рты, в недоумении вытаращили глаза на чужую даму. Но так как женщины по большей части гораздо меньше удивляются чему-нибудь особенному, неожиданному и гораздо скорее приходят в себя, чем мужчины, то и жена переплетчика также несравненно скорее оправилась от своего испуга и обратилась к незнакомке с вопросом, чем она может ей служить.

Тогда незнакомка вошла в комнату. Испуганный Перегринус хотел воспользоваться этой минутой, чтобы убежать, но молодая женщина, взяв его за обе руки, остановила его и прошептала нежным голосом: «Итак, счастье мне все-таки улыбнулось. Я вас все-таки нашла! О, Перегрин, мой дорогой Перегрин, какое чудное, радостное свидание!»

При этом она приподняла ручку и приложила ее к самым губам Перегринуса, так что последний был принужден ее поцеловать, несмотря на то, что у него при этом капли холодного пота показались на лбу. Затем она выпустила его руки, и он мог убе-

жать, если желал, но между тем он был точно прикован к месту; он не в состоянии был пошевелиться и, подобно маленькому зверьку, на которого гремучая змея устремила свой пронзительный взор, был точно околдован и не мог сделать ни единого движения.

— Позвольте мне, — заговорила снова незнакомка, — позвольте мне, добрейший Перегрин, принять участие в чудном празднике, который вы, по вашей сердечной доброте и руководствуясь самыми благородными побуждениями, устроили этим хорошим деткам. Позвольте и мне, с своей стороны, наделить их кое-какими маленькими вещицами.

Она сняла с своей руки очень хорошенькую корзинку с ручкой, которой никто еще до сих пор не заметил. Она вынула оттуда множество красивых игрушек, и принялась расставлять их на столе, делая при этом чрезвычайно грациозные движения, а затем, подзвав мальчиков, указала каждому из них, какие игрушки она ему предназначила, и так мило и ласково обращалась с детьми, что нельзя было достаточно налюбоваться на нее. Переплетчику казалось, будто он все это видит во сне, а жена его лукаво улыбалась, вполне убежденная, что между Перегринусом и этой молодой, чужой дамой есть какой-то секрет.

В то время как родители удивлялись, а дети радовались, незнакомка уселась на старый, расшатанный диван, и посадила рядом с собой Перегринуса Тиса, который, наконец, стал сомневаться, что он действительно Перегринус Тис.

— Дорогой мой, — принялась она шептать на ухо своему соседу, — мой дорогой, мой милый друг, как я рада, как счастлива, что ты сидишь рядом со мною!

— Послушайте, — пробормотал Перегринус, — послушайте, милостивая государыня... — Но вдруг, бог знает каким образом, губы сидевшей с ним рядом дамы, приблизились так близко к его губам, что он, даже не имея намерения поцеловать их, совершенно невольно прикоснулся к ним и, разумеется, после этого подвига совершенно потерял всякую способность вымолвить хотя бы одно слово.

— Дорогой друг мой, — снова продолжала незнакомая дама свою речь, но при этом под села так близко к своему кавалеру, что, казалось, будто она намеревалась сесть к нему на колени, — мой дорогой друг, я знаю, что тебя огорчает и какая забота опечалила твое детское, невинное сердце в нынешний вечер. Но будь покоен. То, что ты потерял и чего не надеялся более получить — я принесла тебе.

При этом она достала из той же корзинки, из которой вынула игрушки, деревянную коробку и отдала ее Перегринусу. Это была охота на оленей и диких свиней, которая у него исчезла.

Трудно описать чувства, волновавшие душу Перегринуса в эту минуту.

Если вся наружность этой незнакомки, несмотря на ее милость и привлекательность, наводила какой-то страх, даже и на людей, не боявшихся женщин до такой степени, как Перегринус, то можно себе представить, какой ужас напал на этого несчастного врага женщин, когда он узнал, что этой даме известны все его поступки, все интересы. Но, несмотря на этот страх, как только он поднимал на нее глаза и встречал чудный взор ее темных очей, обрамленных длинными, шелковыми ресницами, когда он чувствовал ее горячее дыхание и электрическую теплоту ее тела, — им овладевал какой-то удивительный сладостный трепет, и он испытывал такое непреодолимое влечение к ней, какого еще никогда и ни к кому не испытывал. В первый раз ему пришло в голову, что весь образ жизни, который он вел, не имел никакого смысла. Елка, которую он устраивал себе, показалась ему теперь какой-то детской выходкой, ему стало стыдно, что сидевшая с ним рядом дама знала об этом. Но между тем ему опять-таки было приятно сознавать, что подарок дамы — прямое доказательство, что она понимает его лучше, чем кто бы то ни было до сих пор его понимал, и что, подарив ему именно то, что ему нравилось, она желала выразить ему свою искреннюю, сердечную привязанность.

Он решил хранить этот драгоценный подарок всю свою жизнь и никогда не выпускать его из рук; под влиянием овладевшего им чувства он с жаром к сердцу прижал коробку, в которой находилась охота на оленей и диких свиней.

— О, — прошептала дамочка, — о восторг! Ты радуешься моему подарку! О мой дорогой Перегрин, стало быть, мое предчувствие и мои мечты не обманули меня!

Перегринус Тис пришел, наконец, в себя настолько, что мог очень ясно и громко проговорить:

— Но, добрейшая и глубокоуважаемая девица! Скажите мне на милость, с кем я имею честь...

— Ух, ты, плутишка, — перебила его дама, потрепав его нежно по щеке, — эх, ты, плутишка, ты делаешь вид, будто ты не знаешь искренне-преданной тебе Алины! Однако пора нам дать отдых этим добрым людям. Проводите меня, господин Тис!

Когда Перегринус услышал имя «Алина», он, разумеется, тотчас вспомнил о своей старой служанке и ему показалось, что у него в голове начала вертеться ветряная мельница.

Незнакомка принялась очень любезно и приветливо прощаться с переплетчиком и его семьей. Сам отец семейства был до такой степени сконфужен, что от великого изумления и почте-

ния мог пробормотать лишь какие-то бессвязные, непонятные слова, а жена его сказала:

— Человек такой красивый и добрый, как вы, господин Тис, вполне достоин иметь такую красивую и добрую невесту, которая даже ночью помогает вам участвовать в делах благотворительности. Ну, я поздравляю вас от души!

Незнакомка, тронутая любезностью г-жи Леммергирт, благодарила и сказала, что она непременно пригласит их к себе на свадьбу, так как желает, чтобы день их свадьбы и для них был торжественным днем; затем очень серьезно она запретила им провожать ее на лестницу и, взяв маленькую восковую свечку с елки, чтобы посветить себе, вышла.

Можно себе представить, какой ужас овладел Тисом, когда незнакомка взяла его под руку.

«Проводите меня, господин Тис, — повторил он мысленно, — это значит, вероятно, проводите меня до кареты, которая стоит у подъезда и где ждет лакей или, быть может, целая толпа прислуги. Пожалуй, это какая-нибудь безумная принцесса, которая здесь... О боже мой, избавь меня поскорей от этого неприятного, мучительного положения и сохрани мне мой рассудок, которого у меня и без того немного».

Тис не подозревал, что все, что с ним происходило до сих пор, было лишь начало чрезвычайно странного происшествия, и поэтому сделал очень умно, что попросил Бога сохранить ему разум.

Когда Перегринус со своей дамой дошел до низу лестницы, дверь сама собой отворилась и затем, когда они вышли, снова затворилась, как бы по мановению волшебного жезла. Перегринус этого даже и не заметил, так он был удивлен, не увидев у подъезда ни кареты, ни лакея.

— Скажите мне ради бога, где ваша карета, сударыня? — воскликнул Перегринус.

— Карета, — ответила дама, — карета? Какая карета? Неужели вы думаете, мой милый Перегринус, что мое нетерпение видеть вас и страх вас не застать, позволили бы мне сидеть спокойно в карете и ждать, пока она привезет меня сюда? Страстное желание видеть вас — вот причина, побудившая меня, несмотря ни на какую непогоду, в бурю, снег и дождь, бегать по всему городу и искать вас. Слава богу, что мне удалось вас найти. Только отведите меня теперь домой, милый Перегринус: я живу недалеко отсюда.

Перегринус ломал себе голову, каким образом эта молодая женщина, в своем нарядном туалете и в белых шелковых башмачках, могла сделать хотя бы только несколько шагов, без того, чтобы платье ее не пострадало от бури, дождя и снега, а между

тем весь туалет ее имел вид, будто он только что с иголки: на нем не было заметно ни единого пятнышка, ни от снега, ни от дождя. Он согласился проводить свою спутницу и был чрезвычайно доволен, что погода переменилась к лучшему. Буря утихла, тучи рассеялись, луна светила ясно и только сухой, резкий воздух доказывал, что это была зимняя ночь.

Но едва только Перегринус сделал несколько шагов, как его дама принялась сначала только стонать, а затем разразилась громкими жалобами на то, что она боится окоченеть от холода. Перегринус, у которого в то время по жилам текла не кровь, а струился кипяток, не чувствовал холода и не думал о том, что спутница его так легко одета и не накинула ни шали, ни даже платка. Теперь только он сообразил, что это с его стороны большое невнимание и хотел закутать ее в свой плащ. Но незнакомка не дала себя закутать и сказала жалобным голосом:

— Нет, мой милый Перегринус, это мне не поможет! Мои ноги... ах, мои ноги! Ах, я положительно умру от этой страшной боли!

Она была в каком-то полубморочном состоянии и еле-еле держалась на ногах. Совершенно беззвучным голосом, словно умирающая, она произнесла лишь следующие слова:

— Возьми меня на руки, возьми меня на руки, мой чудный друг!

Тогда Перегринус, без дальних слов, взял незнакомку, которая была легка, как перышко, на руки, словно ребенка, и бережно завернул ее в свой широкий плащ. Но как только он поднял свою нежную ношу и сделал несколько шагов, он почувствовал, как им овладела сильная, пламенная любовь. Он покрывал затылок и грудь этого очаровательного существа, прижавшегося к его груди, жгучими поцелуями, бегая с ней в полубессознательном состоянии по улицам города. Вдруг ему показалось, будто он сразу проснулся после сладкого сна и, оглянувшись вокруг, он увидел, что находится пред своим домом, на Конской площади. Теперь только он вспомнил, что он даже не спросил у незнакомки, где она живет и, собравшись с силами, обратился к ней с вопросом:

— Сударыня, небесное, божественное существо, где вы живете?

— Ай, мой милый Перегрин, — ответила дамочка, подняв головку, — ай, разве ты не знаешь где? Здесь, здесь, в этом доме. Ведь я твоя Алина! Я живу у тебя. Вели только отпереть поскорее дверь.

— Нет, ни за что! — воскликнул Перегринус в ужасе, опуская свою ношу на землю.

ЗОЛОТОЙ ГОРШОК

Сказка из новых времен



ВИГИЛИЯ ПЕРВАЯ

Злоключения студента Ансельма. — Пользительный табак конфектора Паульмана и золотисто-зеленые змейки.

В день Вознесения, часов около трех пополудни, через Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина, — и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи товарки все оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок; но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..» В резком, пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм (молодой человек был именно он) хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах она, проклятая баба!» Станным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола ввиду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды, а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто портной, его работавший,

только понаслышке знал о современных фасонах, а черные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка. Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к Линковым купальням, он почти задыхался. Он должен был замедлить шаг; он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот. Так дошел он до входа в Линковы купальни; ряд празднично одетых людей непрерывно входил туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день Вознесения, который был для него всегда особенным праздником, — и он хотел принять участие в блаженствах линковского рая: да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива и, чтобы попить настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек — словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать; он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы; за нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи; а за ними, в глубоком сумраке, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но, мрачно взирая перед собой, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, и его досада наконец выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу не угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намащенной стороной, — обо всех этих злополучиях я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись наконец студентом назло всем чертям, должен все-таки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-

нибудь господину советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от трех до четырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше; только что стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секретаря. Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос; с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный шнурок лопается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою; чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. «Вы, сударь, взбесились!» — рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что конректор Паульман обещал мне место писца? До этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну, вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать светлый день Вознесения как следует, в веселии сердца. Мог бы я, как и всякий другой гость в Линковых купальнях, восклицать с гордостью: «Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!» Я мог бы сидеть до позднего вечера, и притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных, прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем другим человеком, я даже дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы: «Который теперь может быть час?» или: «Что это такое играют?» — я вскочил бы легко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении подвинулся бы шага на полтора вперед и сказал бы: «С вашего позволения, mademoiselle, это играют увертюру из «Девы Дуная», или: «Теперь, сейчас пробьет шесть часов». И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную сторону? Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между собою с лукавою улыбкою, как это

обыкновенно бывает каждый раз, как я решусь показать, что я тоже смыслю кой-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь должен в уединении раскуривать свой пользительный...» Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршаньем, которые поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листьями; то — что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот — он сам не знал, как этот шелест, и шепот, и звон превратились в тихие, едва слышные слова:

«Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в сиянии! Скорее, скорее и вверх и вниз, — солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листьями, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся, сестрицы, скорей!»

И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: «Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях». Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысяча изумрудных искр чрез свои темные листья. «Это заходящее солнце так играет в кусте», — подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: «Ты лежал

в моей тени, мой аромат обведал тебя, но ты не понимал меня. Аромат — это моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: «Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Солнечные лучи пробились сквозь облака, и сияние их будто горело в словах: «Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня: жар — моя речь, когда любовь меня воспламеняет».

И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенной желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос: «Эй, эй, что там за толки, что там за шепот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, до-мо-о-ой, до-мо-о-ой!»

И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.

ВИГИЛИЯ ВТОРАЯ

Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. — Поездка по Эльбе. — Бравурная ария капельмейстера Грауна. — Желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками.

«А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал не переставая: «О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а то я погибну от скор-

би и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желания и нетерпения тряс бузинное дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалось над горем студента Ансельма. «А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — сказала горожанка, и Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того, что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и наконец схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорей уйти. Между тем отец семейства также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисет с табаком, которые уронил студент, и, подавая ему то и другое, сказал:

— Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте добрых людей: ведь все ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик; так идите-ка лучше добром домой да на боковую. — Студент Ансельм весьма устыдился и испустил плачевное «ах». — Ну, ну, — продолжал горожанин, — не велика беда, со всяким случается, и в любезный праздник Вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и с людьми Божьими — ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но, с вашего позволения, я набыю себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел.

Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать ее полезительным табаком. В это время подошли несколько девушек; они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. «Сатана болтает их устами», — говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия — эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос: «Господин Ансельм, господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился как вкопанный, в убеждении, что над ним

непрерывно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос: «Господин Ансельм, идите же назад. Мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман; он пошел назад к Эльбе и увидел конкретора с обеими его дочерьми и с регистратором Геербрандом; они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пирнаском предместье. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу, у Антонского сада, пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячами потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца; но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое так потрясло его грудь в судорожно-скорбном восторге. «Ах, если бы это были вы, золотые змейки, ах! пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые, прелестные синие глазки, — ах, не здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду.

— Вы, сударь, взбесились! — закричал гребец и поймал его за борт фрака. Сидевшие около него девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки; регистратор Геербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова: «Подобные припадки еще не замечались». Тотчас после этого конректор пересел к студенту Ансельму и, взяв его руку, сказал с серьезной и важной начальнической миной:

— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его душе поднялась безумная борьба, которую он напрасно хотел усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он принимал за сияние золотых змеек, было лишь отражением фейерверка у Антонского сада, но тем не менее какое-то неведомое чувство — он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, — судорожно сжимало его грудь; и когда гребец ударял веслом по воде, так что она, как бы в гневе крутясь, плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шепот и лепет: «Ансельм, Ансельм! Разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя — верь, верь, верь в

нас!» И ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полосы. Но когда он затем с тоскою всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещенных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман еще резче повторил:

— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

И в совершенном малодушии студент отвечал:

— Ах, любезный господин конректор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне совсем наяву, с открытыми глазами, под бузинным деревом у стены Линковского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в иступлении...

— Эй, эй, господин Ансельм! — прервал его конректор. — Я всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить, грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно только для умалишенных или дураков!

Студент Ансельм был весьма огорчен жестокою речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана, Вероника, хорошенькая, цветущая девушка шестнадцати лет.

— Но, милый папа, — сказала она, — с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное, и он, может быть, только думает, что это было наяву, а в самом деле он спал под бузиною и ему приснился какой-нибудь вздор, который и остался у него в голове.

— И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор, — так вступил в беседу регистратор Геербранд, — разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда, за кофе, а именно: в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось место, где находился один потерянный документ; а то еще вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент, пляшущий передо мною.

— Ах, почтенный господин регистратор, — возразил конректор Паульман, — вы всегда имели некоторую склонность к поэзии, а с этим легко впасть в фантастическое и романтическое.

Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения — слыть за пьяного или сумасшедшего; и хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза, причем ему, однако, не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бу-

зины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною; он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такою ловкостью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся, и так как это было единственное грязное место на всей дороге — лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конректора Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студенте Ансельме; он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения за свои прежние жесткие слова.

— Да, — прибавил он, — бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат; но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к задку, как доказано одним знаменитым, уже умершим ученым.

Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен, но, во всяком случае, пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли и он чувствовал себя тем более веселым, чем более ему удавалось оказывать различные любезности хорошенькой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой; студент Ансельм должен был сесть за фортепьяно, и Вероника спела своим чистым, звонким голосом.

— *Mademoiselle*, — сказал регистратор Геербранд, — у вас голосок как хрустальный колокольчик!

— Ну, это уж нет! — вдруг вырвалось у студента Ансельма, он сам не знал как, и все посмотрели на него в изумлении и смущении. — Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно, удивительно! — пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала:

— Что это вы такое говорите, господин Ансельм?

Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Конректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Геербранд положил ноты на пюпитр и восхитительно спел бравурную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он исполнил с Вероникой и который был сочинен самим конректором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Геербранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал:

— Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму... ну, о чем мы с вами прежде говорили?

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК



Натанаэль Лотару

Вы все, наверно, в большом беспокойстве оттого, что я так ужасно долго не писал. Мать, пожалуй, сердится, а Клара могла подумать, что я катаюсь здесь, как сыр в масле, и совсем забыл ее ангельское личико, так глубоко запечатленное в моем уме и сердце. Но это совсем не так. Ежедневно и ежечасно вспоминаю я всех вас, и в сладких снах является мне приветливый образ моей милой Клэрхен, и ясные глаза ее улыбаются мне так прелестно, как это бывало, когда я входил к вам. Ах, как же мог я писать вам при том растерзанном состоянии духа, которое до сих пор еще путает все мои мысли?! В жизни моей произошло нечто ужасное! Смутные предчувствия грозящей мне страшной беды надвигаются на меня, как черные тени облаков, в которые не проникнет уже ни один приветливый солнечный луч. Но надо же, наконец, сказать тебе, что со мной случилось. Я вижу, что должен это сделать, но, думая об этом, я уже слышу, как внутри меня раздается безумный хохот.

Ах, дорогой мой Лотар. Что мне сделать, чтобы хоть отчасти заставить тебя почувствовать, что то, что случилось со мною несколько дней тому назад, действительно могло испортить мне жизнь? Если бы ты был здесь, ты бы сам это видел; но теперь ты, наверно, сочтешь меня за безумного духовидца. Говоря коротко и ясно, то ужасное, что со мной случилось, произведя на меня убийственное впечатление, от которого я напрасно стараюсь отделаться, состоит в том, что несколько дней тому назад, именно 30 декабря, в полночь, ко мне в комнату пришел торговец барометров и предлагал мне свои товары. Я ничего не купил и пригрозил ему спустить его с лестницы, но он ушел сам.

Ты подозреваешь, что только совсем особые отношения, глубоко повлиявшие на всю мою жизнь, могут придать смысл этому случаю, и что особа какого-то несчастного торговца не могла так вредно на меня действовать. Так оно и есть. Я собираю все свои силы, чтобы спокойно и терпеливо рассказать тебе многое из того, что было со мной в раннем детстве, желая, чтобы все это ясно и светло предстало перед твоим живым умом, рисуясь в са-

мых ярких образах. Но, собираясь начать, слышу, как ты смеешься, а Клара говорит: «Да ведь это просто ребячество! Смейтесь, прошу вас, смейтесь надо мной от всего сердца! Я очень прошу вас! Но, Боже великий! волосы становятся у меня дыбом, точно будто я умоляю вас надо мной смеяться в каком-то безумном отчаянии, как Франц Моор Даниэль». Но к делу!

Кроме обеденного времени я и мои сестры мало видали отца в течение дня. Он был, вероятно, очень занят службой. После ужина, который по старинному обычаю подавался уже в семь часов, мы все вместе с матерью шли в его рабочую комнату и садились за круглый стол. Отец курил табак и выпивал при этом большой стакан пива. Он часто рассказывал нам разные удивительные истории и приходил в такой азарт, что у него все вываливалась трубка, которую я должен был снова зажигать, поднося ему зажженную бумагу, и это меня необыкновенно забавляло. Но часто он давал нам в руки книжки с картинками, а сам сидел в кресле молчаливый и неподвижный, распространяя вокруг себя такие облака дыма, что все мы точно будто плавали в тумане. В такие вечера мать была очень печальна и бывало, как только пробьет девять часов, она говорит: «Ну, дети! спать! спать! я замечаю, что идет песочный человек!» И я действительно каждый раз слышал, как что-то тяжелое медленными шагами поднимается по лестнице; это, верно, и был песочный человек.

Один раз мне показались как-то особенно страшны эти глухие шаги и шум; я спросил мать, которая вела нас спать: «Мама, кто же этот злой песочный человек, который всегда отрывает нас от папы? Какой у него вид?» — «Милое дитя, — отвечала мне мать, — никакого песочного человека нет, когда я говорю, что идет песочный человек, это значит, что вы хотите спать и не можете хорошенько открыть глаз, точно вам туда насыпали песку». Ответ матери не удовлетворил меня, в моей детской душе ясно сложилась мысль, что мать не сказала о песочном человеке только для того, чтобы мы его не боялись, потому что я все еще слушал, как он поднимается по лестнице. Сторяя любопытством и желая побольше узнать об этом песочном человеке и его отношении к детям, я спросил, наконец, старуху, которая ходила за моей младшей сестрой: «Кто такой этот песочный человек?» — «Э, Танельхен, — отвечала она, — да разве ты не знаешь? Это злой человек, который приходит к детям, когда они не хотят ложиться спать, и бросает им в глаза целые пригоршни песку так, что они наливаются кровью и вываливаются из головы, а он бросает их в мешок и уносит на луну для корма своим детям; а те сидят там в гнезде, и у них такие острые клювы, как у совы, чтобы клевать ими глаза нехороших деток».

В душе моей ужасными красками нарисовался образ страшного песочного человека; когда вечером раздавался шум на лестнице, я весь дрожал от страха. Но мать ничего не могла от меня добиться, я кричал только со слезами: «Песочный человек! песочный человек!» После этого я забирался в спальню и почти всю ночь мучился ужасным представлением о песочном человеке.

Я был уже довольно велик для того, чтобы понять, что история о песочном человеке и гнезде с его детьми на луне, которую рассказала мне няня, не могла быть вполне справедлива, но песочный человек остался для меня страшным призраком, и страх и ужас охватывали меня, когда я слышал, как он не только поднимается по лестнице, но еще и порывисто открывает дверь моего отца и входит к нему в комнату. Временами он долго не являлся, иногда же приходил часто. Так продолжалось много лет, а я все не мог свыкнуться с этим тяжелым призраком, и образ страшного песочного человека не бледнел в моем воображении. Его сношения с отцом все больше занимали мою фантазию. Спросить об этом отца я не смел, меня удерживал какой-то непреодолимый страх, но все же с годами во мне все более и более возрастало желание проникнуть в тайну и увидеть сказочного песочного человека. Этот человек навел меня на мысли о чудесном и странном, которые и без того легко зарождаются в детской душе. Ничего я так не любил, как слушать и читать страшные истории о кобольдах, ведьмах, мальчике с пальчик и т. д., но впереди всего все-таки стоял песочный человек, которого я в самом странном и отвратительном виде рисовал мелом и углем на столах, на шкафах, на стенах и повсюду.

Когда мне было десять лет, мать выселила меня из детской и поместила в маленькой комнатке, находившейся в коридоре неподалеку от комнаты отца. Но мы все-таки должны были быстро удаляться, как только било девять часов и слышно было, что в дом является этот неизвестный. Я слышал из своей комнатки, как он входил к отцу, и вскоре после этого по дому распространялся тонкий и странно-пахучий дым. Вместе с любопытством возрастало также и мое мужество: я непременно хотел как-нибудь познакомиться с песочным человеком. Часто, дождавшись когда пройдет мать, я проскользал из своей комнатки в коридор, но ничего не мог расслышать, потому что песочный человек уже был за дверью, когда я достигал того места, откуда мог его видеть. Наконец, влекомый непреодолимым желанием, я решился пробраться в самую комнату моего отца и дожидаться песочного человека.

По молчанию отца и по печали матери я заметил однажды вечером, что должен прийти песочный человек; поэтому я притворился, что очень устал, ушел из комнаты до девяти часов и спрятался в угол у самой двери. Наружная дверь скрипнула, по пло-

шадке прошли медленные, тяжелые, угрожающие шаги, направляясь к лестнице. Мать быстро прошла мимо, увводя сестер. Тогда я тихо, тихо отворил дверь в комнату отца. Он сидел по обыкновению неподвижно и безмолвно, повернувшись спиной к двери. Он не заметил меня, и я быстро прошел в комнату и спрятался за занавеску, которой был задернут открытый шкаф, где висело платье моего отца. Шаги звучали все ближе и ближе, за дверью что-то странно кашляло, ворчал и шаркало. Сердце мое билось от страха и ожидания. И вот прямо за дверью слышны громкие шаги, потом кто-то с силой нажимает на дверную ручку и дверь с шумом отскакивает! Я изо всех сил беру себя в руки и бесстрашно выглядываю из-за занавески. Песочный человек стоит посреди комнаты перед моим отцом, яркий отблеск свечей падает ему на лицо! Песочный человек, ужасный песочный человек — это никто иной, как адвокат Коппелиус, который часто у нас обедает!

Но самое странное видение не могло бы возбудить во мне глубочайшего ужаса, чем именно этот самый Коппелиус. Представь себе высокого, широкоплечего человека с бесформенной, большой головой, землисто-желтым лицом, шетинистыми седыми бровями, из под которых сверкали серые, кошачьи глаза, и большим, выдающимся носом, висящим над верхней губой. Кривой рот его часто складывался в насмешливую улыбку, и тогда на щеках его выделялись два багровых пятна и странный, свистящий звук вылетал из-за стиснутых зубов. Коппелиус всегда являлся в старомодном пепельно-сером сюртуке, таком же жилете и панталонах, но с черными чулками и такими же башмаками с пряжками. Маленький парик едва прикрывал ему маковку, букли его высоко торчали над большими, красными ушами и широкий, закрытый кошелек из волос отставал от затылка так, что видна была серебряная застежка, стягивавшая сложенный галстук. Вся его фигура была как-то особенно противна и отвратительна; но всего противнее были нам, детям, его волосастые кулаки с большими ногтями, так что для нас было испорчено все, до чего он ими дотрагивался. Он заметил это и особенно любил трогать под каким-нибудь предлогом или кусочек пирожного, или сладкий фрукт, который добрая мать потихоньку откладывала для нас на тарелку; при виде этого у нас выступали на глазах слезы и от отвращения мы не могли есть то лакомство, которое должно было нас порадовать. То же самое делал он и по праздничным дням, когда отец давал нам стакан сладкого вина. Тогда он быстро хватал его в свой кулак или даже подносил стакан к своим синим губам и смеялся как какой-то черт, когда мы тихонько всхлипывали, не смея иначе выразить нашу досаду. Он всегда называл нас маленькими зверьками; когда он бывал у нас, мы не смели произнести ни звука и ненавидели безобразного и злого человека, который, конечно,

намеренно лишал нас наших маленьких радостей. Мать тоже, по-видимому, не меньше нас ненавидела противного Коппелиуса; как только он показывался, все ее веселье и непринужденность пропадали и она делалась печальна, серьезна и мрачна. Отец держался с ним так, как будто он был высшее существо, от которого все нужно терпеть и выносить его, не теряя веселого расположения духа. Он позволял себе только тихие замечания, и за столом подавались тонкие вина и любимые блюда адвоката.

Когда я увидел этого Коппелиуса, то в душе моей с ужасом пронеслась мысль, что никто иной и не мог быть песочным человеком, но только он не был для меня больше сказочным пугалом, которое таскает детские глаза в свиное гнездо на луне, нет! — это был отвратительный призрачный колдун, который всюду, куда он приходит, приносит горе, несчастье, временную и вечную гибель.

Я был точно заколдован. Боясь быть открытым и, как я думал, сильно наказанным, я стоял на месте, высунув голову из-за занавески. Отец торжественно принял Коппелиуса. «За дело!» — воскликнул тот резким, скрипучим голосом и сбросил с себя сюртук. Отец безмолвно и мрачно снял свой халат, и оба надели длинные, черные балахоны. Где они их взяли, я не досмотрел. Отец открыл дверь стенового шкафа, но я увидел, что то, что я долго принимал за него, есть скорее черное углубление, где стояла небольшая жаровня. Коппелиус подошел к этому месту, и голубоватое пламя взвилось над жаровней. Вокруг стояли какие-то странные приборы. О, боже! когда мой старый отец наклонился над огнем, он принял совсем иной вид. Страшная, судорожная боль точно будто превратила его мягкие открытые черты в безобразный, отгалкивающий дьявольский образ. Он стал похож на Коппелиуса.

Тот схватил раскаленные щипцы и брал ими из густого дыма какие-то блестящие массы, которые он потом усердно бил молотком. Мне показалось, что вокруг виднеются человеческие лица, но только без глаз — на месте их были отвратительные, глубокие, черные впадины.

— Глаз сюда, глаз! — воскликнул Коппелиус глухим, угрожающим голосом.

Я вздрогнул, охваченный диким ужасом, и упал из моей за-сады на пол. Тогда Коппелиус схватил меня.

— Зверек, зверек! — заворчал он, скрежеща зубами, потом под-нял меня и бросил на жаровню так, что волосы мои загорелись.

— Теперь у нас есть глаза, глаза, красивые детские глазки! — так шептал Коппелиус и, взявши в руки горсть раскаленных уг-лей, хотел бросить мне их в глаза. Тогда отец мой с мольбой протянул к нему руки и закричал:

— Мейстер! мейстер! оставь глаза моему Натанаэлю!

Коппелиус визгливо захохотал и воскликнул:

— Пускай у малого останутся глаза и он прохнычет свой урок в этом мире, вот посмотрим-ка мы хорошенько, каков механизм его рук и ног.

Тут он схватил меня так сильно, что у меня захрустели суставы, и стал вертеть мои руки и ноги, ставя их то так, то эдак.

— Это все не так! прежде лучше было! Старик это понял! — так шипел и шептал Коппелиус, но все вокруг меня было черно и мрачно, страшные судороги прошли по всем моим членам и нервам — я больше ничего не чувствовал. Теплое, нежное дыхание скользнуло по моему лицу, я проснулся точно будто от смертного сна, надо мной наклонилась мать.

— Песочный человек еще здесь? — спросил я.

— Нет, дорогое дитя мое, он давно, давно ушел и не сделает тебе никакого вреда! — сказала мать и стала целовать и ласкать возвращенного ей любимца.

Зачем утруждать тебя, дорогой Лотар? зачем буду я длинно рассказывать, когда так много еще остается недосказанным? Довольно! — мое подсматриванье было открыто, и Коппелиус этим злоупотребил. От страха у меня сделалась горячка, в которой я пролежал много недель. «Песочный человек еще здесь?» Это были мои первые разумные слова, признак моего выздоровления и спасения. Теперь я хочу только рассказать тебе про ужаснейший момент моей юности; тогда ты уверишься в том, что не по моей слепоте кажется мне все бесцветным, что действительно одно темное дело набросило на жизнь мою мрачный облачный покров, который разорву я, быть может, только со смертью.

Коппелиус больше не показывался, говорили, что он оставил город.

Прошло около года. Все мы по старому заведенному обычаю сидели вечером за круглым столом. Отец был очень весел и рассказывал много забавного про путешествия, которые совершил в молодые годы. Когда пробило девять часов, мы вдруг услышали, как скрипнула на своих петлях наружная дверь и медленные, тяжелые шаги раздались на лестнице.

— Это Коппелиус, — бледнея, сказала мать.

— Да, это Коппелиус, — повторил отец слабым, разбитым голосом.

У матери брызнули из глаз слезы.

— Отец! отец! — воскликнула она, — разве это непременно должно быть?

— В последний раз, — сказал отец, — он приходит ко мне в последний раз, обещаю тебе! Иди, возьми детей! Идите, идите спать! спокойной ночи!

Мне казалось, что я обратился в тяжелый, холодный камень. Дыхание мое остановилось. Видя, что я не двигаюсь с места, мать взяла меня за руку.

— Иди, Натанаэль, пойдем отсюда!

Я дал себя увести и вошел в свою комнату.

— Успокойся, успокойся, ложись в постель, спи, спи! — говорила мне мать, уходя дальше.

Но мучимый неопишуемым страхом и беспокойством, я не мог сомкнуть глаз. Ненавистный, отвратительный Коппелиус стоял передо мной, сверкая глазами и насмешливо хохоча, и я напрасно старался отогнать его образ. Вероятно, была уже полночь, когда раздался вдруг страшный удар, точно будто выстрелили из какого-то орудия. Весь дом задрожал, за моей дверью что-то зашумело, и наружная дверь с визгом распахнулась. «Это Коппелиус!» — воскликнул я в ужасе и вскочил с постели. Тогда что-то завизжало с раздирающим душу воплем; я бросился в комнату отца, дверь была открыта настежь, удушающий дым валил мне на встречу, служанка кричала:

— Ах, барин! барин!

Перед дымящейся жаровней на полу лежал мой отец, он был мертв, все лицо его было черно, обожжено и страшно искривлено; вокруг него выли и визжали сестры, мать лежала в обмороке.

— Коппелиус! проклятый черт! ты убил отца! — закричал я и потерял сознание.

Когда через два дня после этого отца моего клали в гроб, черты его лица были так же мягки и кротки, как и при жизни. Я с утешением подумал, что его связь с проклятым Коппелиусом не стоила ему вечной гибели.

Взрыв разбудил соседей, случай этот получил огласку и дошел до полиции, которая хотела привлечь Коппелиуса к ответственности. Но он бесследно исчез.

Если я скажу тебе теперь, дорогой друг мой, что продавец барометров был никто иной, как проклятый Коппелиус, то ты не станешь пенять на меня за то, что я счел это враждебное явление за нечто, указывающее на большое несчастье. Он был иначе одет, но фигура и лицо Коппелиуса слишком глубоко врезались в мою душу, чтобы здесь могла быть ошибка. Кроме того, Коппелиус изменил свое имя. Здесь, как я слышал, он выдает себя за пьемонтского механика и называет себя Джузеппе Коппола.

Я решил с ним разделаться и отомстить ему за смерть отца во что бы то ни стало.

Не рассказывай матери про появление этого страшного колдуна. Кланяйся моей милой, прелестной Кларе, я напишу ей, когда успокоюсь. Прощай и пр.

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ



СОЧЕЛЬНИК

Целый день двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в Сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, наверное знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

— Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома советник Дроссельмейер был очень некрасив собой; это был маленький, сухощавый старичок, с множеством морщин на лице; вместо правого глаза был у него наклеен большой черный пластырь; волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник, и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот, — и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, словом, что-нибудь в

этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.

— Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный? — повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крестный, наверно, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

— Нет, нет, — сказала Маша, — крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки, в потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами.

— Лебеди конфет не едят, — перебил Фриц, — да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают; то ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трудхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметилах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить; как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали и то, что сам Младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались о об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие, а потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не

мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»

Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово, им казалось, что будто над ними веют тихие крылья и издали доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это Младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:

— Ну, детки, пойдете смотреть, чем одарил вас Младенец Христос!

ПОДАРКИ

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, — Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, — и прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, — и тогда ты хорошо поймешь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сияющую елку! Мари только воскликнула:

— Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль, и великое множество разных лакомств унизывали ветви стоявшей посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой — трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

— Ах, мое милое платьице! — в восторге воскликнула Маша. — Ведь оно точно мое? Ведь я его надену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за

поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь — лютый зверь, ну да ничего: уж он его вышколит! Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко красных, с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабелями и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассмотрение книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что, казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это, значит, пришел черед подаркам крестного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшая стол, раздвинулись, — и что же увидели дети! На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка открылись, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзолчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера, в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:

— Крестный, крестный! Позволь мне войти в этот замок!

Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками, был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал.

Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:

— Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!

— Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, — возразил крестный.

— Ну так вели ему, — продолжал Фриц, — гулять и танцевать с прочими, а не высовываться.

— И этого нельзя, — был ответ.

— Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

— Ничего этого нельзя, — ответил немного обиженный крестный, — в механизме все сделано раз и навсегда.

— Во-о-т как, — протяжно сказал Фриц. — Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали все одно и то же; она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:

— Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором, ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили.

ЛЮБИМЕЦ

Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Мари увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куполка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный: невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На

нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговиц и шнурков, такие же рейтузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейр носил такой же плащ и такую же смешную шапчонку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.

— Ах, — воскликнула Мари, — кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?

— Это вам всем, милые дети, — отвечал папа, — и тебе, и Луизе, и Фрицу; он будет для всех вас шелкать орехи.

С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых, белых зубов. Мари положила ему в рот орех; человечек вдруг сделал — щелк! — и скорлупки упали на пол, а в руку Мари скатилось белое, вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.

— Ну, Мари, — сказал папа, — так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе; береги его и защищай; хотя, впрочем, в его обязанность входит шелкать орехи и для Фрица с Луизой.

Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его шелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы.

Луиза под села к ней, и добрый Щелкунчик стал шелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходявшей с его губ.

Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услышав, как весело шелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигуру Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал шелкать орехи решительно

для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось — крак-крак! — и три белых зуба Щелкунчика упали на пол, да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.

— Ах, мой бедный Щелкунчик! — заплакала Мари, отобрав его у Фрица.

— Э, да какой он глупый! — закричал Фриц. — Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне, я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!

— Нет, нет, оставь, — со слезами сказала Мари, — я тебе не дам моего милого Щелкунчика, посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик: ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.

— Потому что так надо, — возразил Фриц, — и ты в в этом ничего не смыслишь; а Щелкунчика все-таки дай мне; его подарили нам обоим!

Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее вернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:

— Я поручил Щелкунчика беречь Мари, а так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать!

Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари между тем собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человека в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки:

— Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и шегольские сапожки.

Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос, но уж, верно, была какая-нибудь на то своя причина.

ЧУДЕСА

В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трудхен, устроила премиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари (ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари), — итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая, чистая кровать, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен.

Между тем наступил поздний вечер; стрелка часов показывала двенадцатый; крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом, так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.

— Правда, правда, — сказал Фриц, — надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняг не посмеет лечь, пока я тут, я это знаю хорошо.

С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому ма-

ма могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.

— Приходи же скорей, Мари, — сказала мама, уходя в свою комнату, — если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать.

Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило, и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Большой Щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.

— Ах, мой милый Щелкунчик! — сказала она. — Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил; Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо; он на такие штуки мастер...

Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера Щелкунчик вдруг скривил лицо и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо Щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.

— Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю Щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует.

Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:

— Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а тебя я уложу на диван; ведь ты здорова; посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван.

Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.

— И чего я церемонюсь! — сказала Мари и, взяв кровать, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.

«Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен», — подумала Мари и кровать вместе с лежавшим на ней Щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где

квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать, но тут — слушайте внимательно, дети! — тут за печкой, за стульями, за шкафами — словом, всюду, вдруг слышались тихий, тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую, кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:

— Хррр...р! Часики идите! — тише, тише не шумите! — король мышинный к вам идет! — войско свое ведет! — хрр...р — хрр-р! бим-бом! — бейте, часики, бим — бом!

И затем, мерно и ровно, часы пробили двенадцать. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать, но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер и, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими, точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:

— Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!

Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон, точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей, под карнизами, выглянули множество блестящих, маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки, и Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот! Хлоп-хлоп! — так и раздавалось по комнате.

Мыши толкались, сустились, бегали целыми толпами, и наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Мари по жилам. Ах! Что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц! Хотя я и уверен, что у тебя, также как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверно, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого! Вы только послушайте, дети! Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков известки, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед затем выглянуло целых семь мышинных голов с золотыми коронами, и — представьте — все эти семь голов сидели на одном туловище! Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась наконец из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышинового войска,

которое встречало ее с громким, торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана — сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет, но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. — и стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы.

Но что же это опять? В шкафу, за спиной Мари, поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали: — В бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой, ночью в бой! Бей тревогу!

И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.

— Ах, это колокольчики в игрушке крестного, — радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мочь: «Крак, крак! Мышиный король дурак! Крак, крак! Дурак! Дурак!»

При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:

— Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель, трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик и хором воскликнули:

— Да, принц! Клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!

С этими словами они все, вместе с Щелкунчиком, спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо! На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись, а каково было спрыгнуть, почти на два фута вниз, бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверно, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.

СОДЕРЖАНИЕ

КРОШКА ЦАХЕС,
ПО ПРОЗВАНИЮ ЦИННОБЕР
Перевод А. Морозова

- Глава первая.* Маленький оборотень. — Великая опасность, грозившая пасторскому носу. — Как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея Розабельверде попала в приют для благородных девиц 7
- Глава вторая.* О неизвестном народе, что открыл ученый Птоломей Филадельфус во время своего путешествия. — Университет в Керепесе. — Как в голову студента Фабиана полетели ботфорты и как профессор Мош Терпин пригласил студента Бальтазара на чашку чая 18
- Глава третья.* Как Фабиан не знал, что ему и сказать. — Кандида и девицы, которым не дозволено есть рыбу. — Литературное чаепитие у Моша Терпина. — Юный принц 27
- Глава четвертая.* Как итальянский скрипач Сбьокка грозил засунуть господина Циннобера в контрабас, а референдарий Пульхер не смог попасть в министерство иностранных дел. — О таможенных чиновниках и конфискованных чудесах для домашнего обихода. — Бальтазар заколдован с помощью набалдашника 37
- Глава пятая.* Как князь Барсануф завтракал лейпцигскими жаворонками и данцигской золотой водкой, как на его кашемировых панталонах появилось жирное пятно и как он возвел тайного секретаря Циннобера в должность тайного советника по особым делам. — Книжка с картинками доктора Проспера Альпануса. — Как некий привратник укусил за палец студента Фабиана, а тот надел платье со шлейфом и был за то осмеян. — Бегство Бальтазара 44
- Глава шестая.* Как Циннобер, тайный советник по особым делам, причесывался в своем саду и принимал росяную ванну. — Орден зеленопятнистого тигра. — Счастливая выдумка театрального портного. — Как фройляйн фон Розеншён облилась кофе, а Проспер Альпанус уверял ее в своей дружбе 55
- Глава седьмая.* Как профессор Мош Терпин испытывал природу в княжеском винном погребке. — Mucetes Beelzebub. — Отчаяние студента Бальтазара. — Благотворное влияние хорошо

- устроенного сельского дома на семейное счастье. — Как Проспер Альпанус преподнес Бальтазару черепаховую табакерку и затем уехал. 65
- Глава восьмая.* Как Фабиана по причине длинных фалд почли еретиком и смутьяном. — Как князь Барсануф укрылся за каминным экраном и отрешил от должности генерал-директора естественных дел. — Бегство Циннобера из дома Моша Терпина. — Как Мош Терпин собрался выехать на мотыльке и сделаться императором, но потом пошел спать. 72
- Глава девятая.* Смущение верного камердинера. — Как старая Лиза учинила мятеж, а министр Циннобер, обратившись в бегство, поскользнулся. — Каким удивительным образом объяснил лейб-медик скоропостижную смерть Циннобера. — Как князь Барсануф был опечален, как он ел лук и как утрата Циннобера осталась невознаградивимой 79
- Глава последняя.* Слезная просьба автора. — Как профессор Мош Терпин успокоился, а Кандида уже никогда больше не могла рассердиться. — Как золотой жук прожужжал что-то на ухо доктору Просперу Альпанусу и как тот уехал, а Бальтазар стал жить в счастливом супружестве. 89

ПОВЕЛИТЕЛЬ БЛОХ

Перевод *М. Манна*

- Первое приключение.* Введение, из которого благосклонный читатель узнает из жизни Перегринуса Тиса столько, сколько ему нужно. — Елка у переплетчика Леммергирта на Кальбахской улице и начало первого приключения. — Две Алины. 95
- Второе приключение.* Укротитель блох. — Печальная судьба принцессы Гамагеи в Фамагусте. — Неловкость гения Тетеля и странные микроскопические исследования. — Красавица голландка и необыкновенное приключение молодого Жоржа Пепуша, бывшего студента города Иены 116
- Третье приключение.* Появление маленького чудовища. Дальнейшие повествования о судьбе принцессы Гамагеи. — Странный дружеский союз, который заключает Перегринус Тис, и объяснение, кто такой старик, нанявший квартиру в его доме. — Удивительное действие довольно маленького увеличительного стекла. — Неожиданный арест героя этого рассказа 134
- Четвертое приключение.* Неожиданная встреча двух друзей. — Любовное отчаяние чертополоха Цегерита. — Оптическая дуэль двух волшебников. — Сомнамбулическое состояние принцессы Гамагеи. — Мысли во сне. — Как Дертье Эльвердинг едва не говорит правды и чертополох Цегерит убегает с принцессой Гамагеей 153

- Пятое приключение.* Мысли молодых поэтов-энтузиастов и дам-писательниц. — Размышления Перегринуса по поводу своего образа жизни и ученость и рассудительность повелителя блох. — Редкая добродетель и замечательная стойкость господина Тиса. — Неожиданный исход очень опасного и трагического случая 166
- Шестое приключение.* Странное времяпрепровождение странствующих фокусников в харчевне и продолжительная драка. — Трагическая история одного портного из Заксенгаузена. — Как Жорж Пепуш морочит честную публику. — Гороскоп. — Веселая борьба уже знакомых нам лиц в комнате Левенгока 178
- Седьмое приключение.* Враждебные преследования астрологов, заключивших между собой союз и их непроходимая глупость. — Новые испытания Перегринуса Тиса и новая опасность, грозящая повелителю блох. — Резхен Леммергирт. — Вещий сон и конец сказки 197

ЗОЛОТОЙ ГОРШОК
Сказка из новых времен
Перевод В. Соловьева

- Вигилия первая.* Злоключения студента Ансельма. — Пользительный табак конректора Паульмана и золотисто-зеленые змейки 227
- Вигилия вторая.* Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. — Поездка по Эльбе. — Бравурная ария капельмейстера Грауна. — Желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками 231
- Вигилия третья.* Известие о семье архивариуса Линдгорста. — Голубые глаза Вероники. — Регистратор Геербранд 238
- Вигилия четвертая.* Меланхолия студента Ансельма. — Изумрудное зеркало. — Как архивариус Линдгорст улетел коршуном и студент Ансельм никого не встретил 242
- Вигилия пятая.* Госпожа надворная советница Ансельм. — *Cisego de officiis.* — Мартышки и прочая сволочь. — Старая Лиза. — Осеннее равноденствие 248
- Вигилия шестая.* Сад архивариуса Линдгорста с птицами-пересмешниками. — Золотой горшок. — Английский косой почерк. — Скверные кляксы. — Князь духов 255
- Вигилия седьмая.* Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушел спать. — Рембрандт и адский Брейгель. — Волшебное зеркало и рецепт доктора Экштейна против неизвестной болезни 261

<i>Вигилия восьмая.</i> Библиотека с пальмами. — Судьба одного несчастного Саламандра. — Как черное перо любезничало со свекловицею, а регистратор Геербранд весьма напился.	266
<i>Вигилия девятая.</i> Как студент Ансельм несколько образумился. — Компания за пуншем. — Как студент Ансельм принял конректора Паульмана за филина и как тот весьма за это рассердился. — Чернильное пятно и его следствия	273
<i>Вигилия десятая.</i> Страдания студента Ансельма в склянке. — Счастливая жизнь учеников и писцов. — Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. — Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма	280
<i>Вигилия одиннадцатая.</i> Неудовольствие конректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умоисступления. — Как регистратор Геербранд сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришел в башмаках и шелковых чулках. — Признание Вероники. — Помолвка при дымящейся суповой миске	285
<i>Вигилия двенадцатая.</i> Известие об имени, доставшемся студенту Ансельму как зятю архивариуса Линдгорста, и о том, как он живет там с Серпентиною. — Заключение.	290

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Перевод *М. Бекетовой*

Натанаэль Лотару.	297
Клара Натанаэлю.	304
Натанаэль Лотару.	306

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ

Перевод *А. Соколовского*

Сочельник	327
Подарки	329
Любимец	331
Чудеса	334
Сражение.	338
Болезнь.	341
Сказка о крепком орехе.	344
Продолжение сказки о крепком орехе	348
Конец сказки о крепком орехе	351
Дядя и племянник	356
Победа	358
Кукольное царство	363
Столица	366
Заключение.	370